



Леонид Александров

Косотур-гора

Леонид Александров Косотур-гора

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28731360

SelfPub; 2018

Аннотация

Воспоминания моего прапрадеда Степана Алексеевича Желнина об установлении советской власти на Урале и жизни простых крестьян до её прихода, изложенные моим дедом под псевдонимом Леонид Александров. Дмитрий Желнин.

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	19
Глава третья	31
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Косотур – гора

Вместо предисловия

Солнечным ноябрьским днем 1955 года к небольшому деревянному одноэтажному дому спешили люди.

Они шли, чтобы поздравить своего односельчанина, Степана Алексеевича Желнина с высокой правительственной наградой в связи с пятидесятилетним юбилеем коммунистической партии Советского Союза.

Прослушав приветственную телеграмму из Москвы и поздравления секретаря обкома, растроганный Степан Алексеевич оглядел присутствующих, и сказал:

«Друзья мои! Дорогие товарищи! Спасибо вам за внимание, спасибо родному правительству за великую награду. Полвека назад я вступил в ряды твердокаменные. Конечно, я – это капля воды, но из капель состоит море. Но все же я без страха могу оглянуться назад и вспомнить прожитые годы, полные борьбы за благо внуков и правнуков наших, которые, верю, будут хранить завоевания дедов. Подымаю стакан за товарищей, павших за установление советской власти на Урале, и скорблю, что им не пришлось дожить до этих светлых дней...»

В основу этого романа положены его воспоминания.

Часть первая

Чужой дом

(Братья)

Глава первая

Хлопнув дверью, Степан выбежал из дома и случайно наступил на Цыгана, кольцом свернувшегося возле крыльца. Собака взвыла от боли и испуганно шмыгнула в дыру под ступеньки.

А он и не глянул на пса, хотя раньше мог с ним возиться и играть. Рванул кольцо калитки – лязгнули петли ворот – и пошел, торопясь, куда глаза глядят.

Высокий, нескладный, шел он, не выбирая сухого места, шлепая сапогами по лужам и хляби. Наугад свернул проулком к Миасс-реке, над обрывом привалился плечом к корявому стволу полузасохшей ивы. Долго, не мигая, глядел в даль за рекой, на синюю гряду Ильмень-горы. Сухая ветка скребла ему кожу на щеке и норовила зацепиться за ухо. На большие черные глаза парня напоззли, как тучи в ненастную погоду, сросшиеся у переносицы брови, ноздри прямого, чуть вздернутого носа изредка вздрагивали.

Степан медленно проглотил комок, застрявший в горле, словно недожеванную пищу, и вздрогнул, поджав плечи. Но не от озноба – стоял серый весенний день, а от нахлынувших на него воспоминаний и горькой обиды. Его цепкая память теперь выпечатывала обрывки событий и сцен недавнего детства, с тех пор, когда он едва научился говорить.

Помнит Степан, как боднул его рогами и опрокинул навзничь нахальный соседский козел; не забыл, как он однажды свалился во сне с полатей на принесенного в тепло, родившегося ночью теленка. Мать часто со смехом вспоминала этот случай и гадала, кто тогда пуще ревел со страху...

А потом его стали учить – известно, не учась, и лаптя не сплетешь. Ну, и твердили о благе и чести: «нечестивый срамит и бесчестит себя» или «зри (смотри) житие чистое и нескверное и безгрешное, мудрость, и честь, и слава, и старость честная человеку...» А научился ли врать Степан?

Помнит, как его, да брата Лаврентия, да еще пяток других мальцов из села учил в домашней школе уму-разуму благообразный, но нетерпимый к лени, к всяческим человеческим порокам уставщик и начётчик-наставник раскольников-старообрядцев – отец Михаил, брат отца.

Скрипели ребята на грифельных досках, учась писать «Уставом» – древнейшему русскому письму, выводя каллиграфическое начертание прямых и аккуратных буквы. Более бегло, менее четко выводили буквы и «полууставом». Отец Михаил пояснял, что этот стиль письма перешел в печатные

книги великого книгопечатника Ивана Федорова.

Но поначалу показывал, как верно складывать пальцы в двуперстие, и пояснял:

– Иуда брал соль щепотью – тремя перстами. Щепотью креститься грех. Тьфу!

Читать учил по Псалтырю, заставляя сперва по складам, а потом на память рассказывать прочитанное.

Любопытные мальчишки часто задавали отцу Михаилу вопросы. Был в настроении – пояснял, чаще молчал или кричал:

– С хвоста хомут не надевают! – и в ответ больно хлестал по рукам сыромятной лестовкой-четками, приговаривая:

– Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает рот свой – тому беда! Кланяйся ниже, ниже, ниже согнись в поясе до пола, умерь гордыню свою! Скажи-ка, Лавруха, десять заповедей святого Моисея!

Лаврентий долго мямлил, сбивался со счета заповедей, загибая пальцы, и плел околесину.

– Чего мелешь, поганец? – сурово спрашивал учитель, и снова хлестал. Застенчивому и косноязычному брату Степана доставалось больше всех. Однако и Степан, и Лавруха, и Федька, и Иннокентий, и другие знали: коли бьет учитель, значит за дело, для пользы! Так и в книге «Притчей Соломоновых» сказано. Известно: учение приходит через терпение.

Братья терпели. Подрастать начали и терпели на пашне, когда отец мог сгоряча огреть скребком, которым счищают

грязь с лемехов, по спине. Показывал, как стог сена вершить – тыкал вилами в бок, стоя внизу. И не от злобы, от желания всему научить!

Сносил Степан безропотно всю учёбу, подзатыльники и нравоучения, проникаясь все возрастающим уважением к все умеющему и работающему отцу, и всезнающему благообразному дяде Мише. Не даром к десяти-двенадцати годам мальчишки из кержацких семей с завидным умением могли пахать, косить, стога метать, дрова рубить, лапти плести, закрутки к саням свивать, вызывая молчаливую зависть у отцов многих сверстников-нахлебников.

Но пошатнулось одним махом доверие к домашним, особенно к дяде Мише, после той злополучной ночи. Как приехал Степан с Косотурского завода, с неделю ходил сам не свой, словно в воду опущенный. Все боялся отцу с матерью поведать о виденном, но потом не выдержал тайны и ляпнул, да видно, невпопад, причем за столом и при хлебе насущном¹.

Отец в ярости вдарил Степана ложкой по лбу. Помутился свет белый.

Степан отбросил в сторону воспоминания, проглотил застрявший в горле комок, глубоко вдохнул, отвел в сторону сухую ветку и только теперь заметил под обрывом на льду мальчишек.

Лед на реке – совсем недавно по нему ходили и ездили –

¹ За столом при хлебе не положено говорить бранных слов.

посинел, вздулся, местами треснул. Наезженная зимой санная дорога поперек реки выглядела грязно-бурой полосой: весеннее солнце и тепло обнажили на ней толстый слой конского навоза. Теперь дорога лопнула и кое-где сдвинулась от подвижки льда, а меж сдвигов была видна вода цвета испитого чая.

Самые шустрые из детворы пытались перебраться через разводья на другую сторону. Двое же маленьких сорванцов поскромнее стояли на самом краю льдины, рассматривая свое отражение в воде, и хором кричали:

Перед нами – вверх ногами,
Перед тобой – вверх головой...

Степану захотелось узнать, где они разучили такой забавный стишок, но тут его отвлек малый лет десяти, в новых лапоточках и рваной шубейке. Он со скрежетом волок снятую с огорода длинную жердь. Мигом вскочил на лёд и с трудом перекинул жердину через воду – получился мостик! Затем, осторожно перебирая лапоточками, балансируя руками, пошел над разводьем.

–А-а-а! – раздался вдруг крик, мелькнули широко расставленные рукава шубейки.

Степан в два прыжка обежал обрыв, спрыгнул на лед и подскочил к трещине, выхватил за воротник барахтающегося перепуганного мальчишку.

– Куда ты леший понес?

Тот, поднимаясь со льдины, со страха и холода клацал

щербатыми зубами. Детвора столпилась вокруг.

– Чей будешь? – сердился Степан.

– Отжаться бы, – дрожал мальчик, пытаясь снять с себя шубейку.

– Зареченский он. Лукерьи-прониры сын! – охотно объяснил один из мальчишек. – Панькой его звать.

– Айда домой! – отжимая одежку, закричал Степан, кинув шубейку себе на плечо, правой рукой ухватив спасенного за скользкий рукав рубашонки.

– Не могу! – упрямо и отчаянно заявил вдруг Панька, присев на лед. – Пальцы на ноженьках заходятся!

– Бегом! – заревел на него спаситель и, не отпуская рукава его, увлек к берегу.

– Ловко он Паньку выудил, – рассуждали мальчишки. – Настырной!²

– Ну! Момент – и затянуло бы под лед...

Бежали проулком к улице. На углу, возле дома, еле переведя дух, тяжело дыша, Степан спросил Паньку:

– Согрелся?

Можно было и не спрашивать. Скуластое лицо малыша покраснелось, он смущенно улыбался. Доверчиво глядя на Степана, заговорил:

– К дедке я собрался. На смолокурку. Там, – махнул рукой на реку, – на Даниловом мысу. Лед-то, сам, небось, видел... И хлеб утонул, – заключил он понуро.

² Настойчивый, храбрый.

– Мать-то дома? Лёд я видел...

– А? Не знаю... В завод ушла после Покрова дня. Сгинула: ни слуху, ни духу. Ну, я пошел! – и сдернул с плеча парня шубейку.

– Постой, Пашка! – бросился за ним Степан, и неожиданно столкнулся с девушкой.

– Ой! – всплеснула руками она, вытянув их перед собой.

– Степа! Какая нечаянная встреча! Прошла целая вечность с тех пор, как... Ты что, бодался с кем? – спросила она вдруг, пристально разглядывая лицо его. – Марусеньку – сестру твою, хотелось очень увидеть, да недосуг все. Она здорова?

Он качнул головой. Нет, он сестру не видел с тех пор, как выбежал из дома. Выбежал...

Вот почему Татьяна – так звали девушку, – смотрит на парня подозрительно. Синяк на лбу...

Она о чем-то еще спрашивала его и, не дожидаясь ответов, незаметно увлекала Степана за собой. Шли по улице, и возле фундамента большого строящегося дома, подошли к воротам флигеля. В улицу выходили два окна сверху, и два – из подвального помещения.

Степан рассеянно бросил взгляд на дом, затем на девушку, будто увидел её впервые. И куда она его ведет?

А она, невысокая и стройная, с чуть продолговатым смуглым лицом, на котором очень к месту был чуть вздернутый нос и рот, с красиво очерченными припухлыми губами, взяв-

шись за кольцо калитки, приглашала войти:

– Заходи, Степа, мне хотелось бы тебя своему папе представить.

Полуобернувшись к попутчику, она другой рукой терла кончик темно-русой косы, выбившейся из-под светлой шляпки на грудь.

– Ты не робей! – продолжала она, и решительно шагнула по крашеной охрой ступеньке лестницы, начинающейся почти от самой калитки.

Степан несмело закрыл за собой дверь, подумав:

«Не званный гость хуже... Эх, была не была..»

Татьяна остановилась наверху лестницы, дожидаясь попутчика, и продолжала:

– По случаю пасхальной недели администрация завода объявила «гулевые», то есть праздничные каникулы, вот мы с папой и решили приехать. Вдвоем. Как же я его одного брошу? Он у меня такой большой, и такой беспомощный. И такой хороший.

Чья-то фигура заслонила свет на лестнице, и раздался голос с хрипотцой:

– Позволь узнать, Танюша, перед кем это ты расхвасталась? – по лестнице бодро подымался мужчина лет сорока, с бородой клином. В руках он нес кринку с молоком. Одет налегке, на голове – шляпа.

– Гостя привела, папа, – радостно объявила Татьяна, открыв на себя дверь, пропуская вперед сначала Степана, а за-

тем – отца. Она быстро сняла пальто и шляпку, приняла у отца кринку, поставив её на стол.

– Ну, подействуй на него! Кстати, его Степаном зовут, битый час слова добиться не могу, – говорила она с неподдельным отчаянием.

– Сейчас, сейчас разглядим, на кого нужно подействовать, – деловито-шутливо говорил отец Татьяны, легонько подталкивая парня от порога. Будь уверена!

– Стало быть, так: нашел – молчит, и потерял – молчит? Проходите смелее, молодой человек, – и вдруг искренне обрадовался:

– Везет же этому дому на гостей! Давайте вашу шапку!

Гость молчаливо запротестовал, держа шапку в руках.

– Ну, бог с вами, бог с вами! Отбирать не стану, хотя украсть её можем. Значит, молчание – золото, да? Жаль, самого хозяина нет...

– Это же Молчанов Степан, – выручила Татьяна. – А папку моего зовут Николаем Модестовичем.

– Вижу, – пробормотал Степан.

– Вот и разговорились, – засмеялась Татьяна.

– Молчанов? – спросил Николай Модестович. – Могла бы и не называть. Сам вижу, не из Болтуновой семьи. Дочка, сделай милость, поставь самовар. Вода залита, щепка в печурке.

Степан робко присел на лавку, односложно отвечал отцу Татьяны, мимоходом заглядывая в небольшую горницу,

похожую на зал музея. На стене – рога лося и косули, а на деревянных стеллажах уютно расположились чучела глухаря, селезня и других пернатых, обитающих в здешних лесах. Неожиданно он вздрогнул, встретившись взглядом с провалом глазниц стоящего в углу человеческого скелета.

«Вот так влопался!» – подумал он, и по спине пополз липкий холодок от страшной догадки. Как же он не узнал дома «шайтанихи», в сторону которого плевались все жители села, стараясь обходить его стороной. Проживал в этом доме поляк Стась Павлыч, что купил его за бесценок у старой вдовы. Шептали про него всякое: и что он отбывал ссылку в Сибири, и что теперь его оставили здесь на поселении, и что шляется он по лесам.

Властям все эти сплетни были на руку. «Свихнулся, надо полагать», – докладывали наверх. – «Камни в дом таскает, в трубу на звезды глядит. Бродит день-деньской то с молотком, то с ружьишком, крамольных речей не говорит».

«Проморгаешь, заporю!» – рычал на соглядатая уездный начальник.

Но Стася Павлыча «проморгали». Стремясь заработать на существование, он с группой земляков расширял разведку графита на берегу озера Кысы-Куль и случайно, по ему одному известным признакам, наткнулся на следы стоянки первобытного человека. Своей находкой он поделился с руководителем поисков, горным инженером Николаем Модестовичем, отцом Татьяны.

«Возможно-возможно», – сказал тогда инженер. – «Имеется неопровержимые данные, что Южный Урал в течение нескольких миллионов лет бывал то дном моря, то континентом с горными вершинами, где обитали мамонты, бизоны, пещерные львы. О найденных костях животных морских и земных рассказывали мне не раз. А почему бы на этой местности не жить первобытным людям? Возможно. Надо написать в Санкт-Петербург».

К Стасю Павловичу прибыла делегация из Северной столицы. О нем написали петербургские газеты, но о том, что он бывший ссыльный и поселенец – умолчали. Специальным курьером из Екатеринбурга ему прислали приглашение на получение почетного диплома, но ехать туда ему не разрешили. Уездный жандармский начальник получил депешу с выражением недовольства по поводу светских связей бывшего ссыльного.

Не просыхающий пьяница-урядник был заменен более трезвым, а для Стася Павлыча наступили новые, нелегкие дни. В месяц раз он вынужден был ездить отмечаться в Косотурск и отвечать на недвусмысленные вопросы.

В один из таких весенних дней, когда Стась Павлыч убыл в Косотурск, к нему заехал Николай Модестович с дочерью Татьяной. Где по пути они разминулись, остается загадкой...

– Мы с Танюшей бываем в этом доме по-свойски, запросто и в любое время, – не замечая смятения Степана, рассказывает Николай Модестович, расставляя на столе чашки

и готовясь к чаепитию. – Интереснейший человек, разносторонне развитый, скажу тебе. Молчишь всё? Ты, молодой человек, язык не проглотил? Постой – постой, кто же тебе на лоб клеймо наварил? Скажи, любезный!

Степану не понравился этот живой, многословный господин с его быстрой, суевающейся походкой, его густая бородка клином и бесконечное любопытство. В кержацких семьях каждое слово было дорого, а назойливость с вопросами никогда не поощрялась. Напоминание же о синяке на лбу вывело его из равновесия, и он ответил с дерзким вызовом:

– Кулак с печи прискочил!

– А шустрый ты, – не замечая дерзости, подметил Николай Модестович, – петушок! Стоишь подле печи, вот тебе и набили... Свои или зареченские?

Сбросив оживление с лица, Степан снова замкнулся. Сросшиеся у переносицы брови собрались в складку. Буркнул еле слышно:

– Есть кому. Зареченским не поддамся. Тятка зыкнул...

Сказал, и тут же пожалел об этом. Сроду никому не жаловался. Да и зачем сор из избы – вон, мало ли что в семьях бывает.

Татьяна с сочувствием глянула на парня. Уж она-то знала суровый нрав отца Степана, и теперь гадала: что же могло произойти в их семье.

– Горяч очень? – не унимался Николай Модестович. – Часто он шумит и кулаки в ход пускает?

– Шумит, говоришь? – удивленно спросил обескураженный Степан, и впервые глянул в глаза собеседнику.

– Лес тоже шумит. И лед на озере как начнет бухать на Крещение, а кому от этого больно и обидно? – он привстал со своего места, махнул с досады рукой, будто отрубил. – Что тятка? А ты, барин, из воли отцовой вышел бы?

– Ну, как тебе сказать? Смотря по какому поводу, смотря при каких обстоятельствах, – задумался Николай Модестович, понимая, что отвечает неискренне.

– Во-во! Вот кобелю на хвост наступи – скулить станет. Но то ведь не нарочно! А тут ложкой оловянной – ни про што, ни за што.

– Кипит! – кричит от печки Татьяна, снимая с самовара трубу. – Папа, неси на стол! Не поскользнись – мокро, сейчас подотру!

– Ух ты! Вот распелся! – Татьяна отец нагнулся к самовару. Будто бы глухо стукнула дверь. «Вовремя хозяин вернулся!» – подумал он. Поставил самовар на медный поднос и, предвкушая удовольствие от чашки чая, глянул в сторону Степана. От внезапной догадки лицо его вытянулось, растерянно и с горечью произнес:

– И был таков... – покачал с огорчением головой, сел за стол, будто больной, машинально возя по скатерти чайной ложечкой. – Удрал, шельмец!

Пел самовар, да было слышно, как голос Татьяны звенел за воротами:

– Степа! Степан! Вернись!

– Ушел? – спросил отец, когда она вернулась в дом. Молча кивнула, вздохнув с досады.

– Как воришка! – удивлялся Николай Модестович. – Подожди, узнай у здешних кержаков, что у них на уме. Говорят одно, делают другое.

– Пора бы тебе уж привыкнуть к их повадкам, – мягко упрекнула отца дочь. – Зачем ты в душу ему вторгаешься? К больному месту прикасаешься.

– Ну, будет, будет! – примирительно сказал отец, и попросил:

– Налей погуще!

Татьяна повернула кран, подставила чашку под журчащую струю, и тихо проговорила:

– Отец у них совсем невыносимым стал, после того, как Соня...

– Этих Молчановых? Соня ему сестра?

– Ну, да!

– Мне отцовские чувства вполне понятны, – вздохнул он.

Глава вторая

На восточном отроге Урал-Тау гордо высится полуторакилометровая Иремель-Гора. Снежная шапка её белеет до середины июля, пита́я талой водой множество известных и безвестных речек. Отсюда, от подножья Большого Камня, истекают маленькими ручейками Урал, Белая, Юрюзань, Ай, Миасс, Уй... Разбежались, словно напуганные овцы, в разные стороны и края: одна стремится на юг, другая – на запад, третья – на север.

Миасс-река, сбегая вниз, ширилась и набирала силу. Бурля и пенясь, столетиями точила она гранит и базальт, подмывала корни исполинских деревьев. Будто булатным клинком отсекла от каменного пояса длинную цепь Ильменского хребта, затем, круто повернув на восток, спокойно понесла свои прозрачные воды в зауральские степи, к Исети, Тоболу, в Иртыш – до самого Студеного моря.

Миасс-река была когда-то говорлива на перекатах, глубока на широких плесах. Много воды унесла ты, река, к океану с тех пор, как на твоих берегах столпились скопища вольных кочевников, и предводитель с седла показал камчой на голубое озеро среди гор, коротко сказав: «Тургояк!» По-русски это означало – здесь стоять будем! И паслись на заливных лугах стада лошадей, овец и верблюдов. По берегу реки теснились войлочные юрты, возле которых звенел детский смех,

и вспыхивали женские короткие ссоры, лаяли свирепые псы. Дымки костров разносили пряный запах баранины – варили лапшу – бешбармак, пекли ароматные лепешки, жарили конину, пили терпкий чай, добытый в далекой восточной стране, дурели от пьяного кумыса, заедая его вонючим крутом – овечьим сыром.

После взятия Казани Иваном IV в октябре 1552 года прекратило существование татарское ханство, простиравшееся от берегов Волги до Зауральских степей. Оно препятствовало русской колонизации на Востоке, теперь же в повиновение Москве были приведены мордва, черемисы, чуваша, вотяки, башкиры. На землях, когда-то подчиненных казанскому хану, были построены русские крепости: новая – в Казани, в Чебоксарах, Уржуме, Яранске, Цивильске, Уфе. Путь за Урал был открыт. На новые земли призывались предприимчивые люди из центра – Строгановы, Демидовы, Мосоловы, Лугинины. Строились заводы, нужна была рабочая сила. Сила эта находилась среди крепостных, беглых каторжников и кержаков-раскольников, а также добровольцев, коих манили привольная жизнь, плодородные земли, лесные просторы, обилие зверья и рыбы.

Потомки кочевников-башкирцев уж давно стали оседлыми, поменяв войлочные юрты на рубленые избы, сидели на южноуральской земле ко́шами – родовыми общинами.

Чудные русские, бестолковые! – рассуждали вотчинники-башкиры, – лезут в горы, а как там скот пасти? Кобылицы

копыта в кровь сбивают, бараны шерсть на камнях оставляют... За мизерную цену, а подчас и за четверть водки продавали русским землю, не ведая о том, что в горах кроются несметные богатства.

Кругом много стало русских, а местные названия вершин, хребтов, рек и речушек, деревень по сей день остались. Перечислять их – пальцев на руках тысячи людей не хватит: Ис-ыл, Таганай, Иремень, Уреньга, Косотур, Тыелга, Карабаш, Миасс, Мисяш, Куштумга, Ай, Уй, Кисегач, Тургойк... Язык сломаешь!

Вдоль широкой поймы Миасса, близ кристального чистого озера Тургойк, стоит село. Улицу Долгую, косогором растянувшуюся версты на три и приткнувшуюся крайними избами к озеру, тут и там перерезали журчащие ключи, прозванные кем-то Гремучим, Сосновым и Фроськиным. По уровню верхнего ряда домов с упирающимися в сосновый бор огородами на ключах делали запруды. В них бабы и девки зимой и летом колотили вальками и полоскали бельё, мочили лен, а мужики – мочало на веревки. Последний ключ долго оставался безымянным, но присосалось к нему имя после того, как выловили из его запруды захлебнувшуюся припадочную Фроську.

Из хрустального Тургойка к Миасс-реке, поперек села, словно канавка, течёт Исток. Его дно из зелёных камушков, пограничной межой делит он село на два куска пирога, на два мира – Заречье и Долгополиху. Через Исток переброшен де-

ревянный мосток, испокон веков – источник мирских склок. По мостку ездят все, а поди разбери, чей черед настил менять или поваленные возом перила ставить...

В Заречье десятков пять кособоких изб, и улица тоже одна – Ивановская – похожая больше на проулок. Здесь живет шантрапа всякая, да голь перекатная: от грязных пропойц до отпетых старателей и горщиков – бродяг лесных, что ищут камушки.

На Долгополихе живут кержаки-старообрядцы. Мужики как на подбор, степенные, работающие – блюстители «древне-го» благочестия. И дома у них ладные.

Дом Молчановых – за Гремучим Ключом на нижней стороне, то есть по правую руку, если идти от озера. Пятистенный, с крутой и высокой крышей, рублен из толстых листовенниц. Двор и надворные постройки недоступны постороннему взору. Высокий забор-заплот, сделанный из сосновых плах, отделяет жилье от соседей и улицы. Тесовые ворота с крышей теремком имеют калитку и запираются на толстый засов.

Во дворе перед задними воротами слева – конюшня, стойка для коров и телят, отдельно для овец. К стене овчарни примыкает пристройка, где стоит верстак, и там же – погреб со льдом. С правой стороны отведено место для саней, кошевки, для телег и качалок. Там же на стене, на кольях, висят хомуты и сбруя. Все надворные постройки покоятся на высоких столбах, потолок выложен жердями, остропилен и по-

крыт тесовой крышей с широким проемом-окном, куда складывается сено. Ближе к сенам – амбар.

С косогора, через улицу, через крыши домов напротив, глядит дремучий бор. Если открыть задние ворота, выходящие на огород, то за грядками с овощами и капустой, за курной баней, за клочком покоса виден Миасс с обрывистым берегом. За ольховой иремой по ту сторону Миасс-реки открывается взору синяя стена Ильмень-горы, покрытая лесом. Сосны, осины и березы попеременно с липами карабкаются по склонам все дальше и все выше. Деревья подобны людскому потоку в жизни: чахлый и несмелый – догнивает в болоте, а кто посильнее да понастырнее – достигает вершин. И высится над каменным карнизом такой богатырь, уцепившись жилистыми корнями за замшелую скалу, скрипит и гнется под напором ветра и невзгод, но стоит, рассыпая семя.

Давным-давно, во времена царя Алексея Михайловича, антихрист Никон развратил православную церковь³, и в священные книги были внесены были еретические уставы⁴.

Много бед по Руси пошло. Хлынули большие толпы крестьян, ярых ревнителей и сторонников благочестия, из центральной России на Волгу, в Уральские горы и Сибирские леса. Одни сами бежали, спасаясь от беспощадных никониан, лютых бояр да царских чиновников-псов. Других силой

³ Имеется ввиду церковная реформа патриарха Никона в 1654 году.

⁴ Устав – церковный порядок, правила службы.

везли лес рубить, руду копать, уголь жечь, смолу и деготь гнать, в заводах рубить.

В Петровские времена заводы и рудники на Урале росли как грибы после дождя, а в «золотой» век Екатерины и по-прежнему. Для охраны заводов строились казачьи поселения – станицы. Казачество – опора царя и отечества – наделялось, за охранную службу, землю, пастбищами и неслыханными льготами.

А тут вдруг тульский первой гильдии купец Иван Перфильев Мосолов с племянником своим Василием начали строить Косотурский завод. Пригнал он с собой крестьян из Тулы, Твери, Москвы и Рязани. В середине августа 1761 года задымили домна и горновые печи, потекли в карман купцу барыши за дармовое уральское железо, и выросла нужда в древесном угле, углежогах, рудознатцах.

Когда продали Мосоловы завод земляку Лугинину, более энергичному и молодому, топот копыт и ржание сытых казачьих лошадей огласили окрестные леса и горы. Верные заводчику люди отыскивали в округе башкирские деревни и русские поселения.

Из Чебаркульской крепости (которая в те времена была административным центром Исетской провинции), казаки обычно ездили в Косотурск через Миасский завод, через Сыростан, но на сей раз они шли напрямую. Неожиданно наткнулись на озеро.

Очарованные голубой жемчужиной, окаймленной изу-

мрудной каймой леса, стояли они на высоком обрыве со скалистой подошвой, забыв о своей задаче.

– Гада! – тронул урядник поводья и перед казаками показалось жилье. На улочке вдоль Крутиков вряд стояло около десятка изб. Встретили бабу с коромыслом и ведрами.

– Как озеро прозывается? – спросил урядник, разглядывая темный платок на голове женщины.

– Тургояк.

– А село как?

– Тургояк.

Через дома и огороды на лысой сопке урядник разглядел белую часовню. Перекрестился. Казаки последовали его примеру, попросили напиток. Начальник выдернул из сумы дощечку, что-то записал карандашом. Ускакали.

А через неделю через село шли конные. Много! На разномастных лошадях, с ружьями и пиками, русские и башкиры. Кричали: «Айда за царя Петра!», «Царица – шайтан!» Ночью можно было видеть много костров, за озером у большой горы. Потом пошли слухи: «Косотурский завод Пугач сжег дотла!»

Пожалуй, больше года в Тургояк посторонние не появлялись, и в селе жизнь шла своим чередом. Но вдруг перед самым Покровом, словно плотину прорвало. Кто пешком, с котомкой за плечами, кто с детишками на телеге, запряженной полудохлой клячей, тащились через село. Ехали и шли искать лучшей доли, не сказывая куда, христорадничали, про-

силы ночлега.

Волна миграции – как добровольной, так и принудительной – в те далекие годы делилась на два рукава, две ветви: северную и южную. Северная шла через Кунгур и заселяла Средний Урал, состояла из жителей Твери, Рязани, Нижнего Новгорода. Эта ветвь шла по старому руслу колонизаций, образованному еще в петровские времена. Южная ветвь несла людской поток в основном через Оренбург или Уфу, вела жителей Тамбовщины, Поволжья, состояла из казачества и обнищавшего крестьянства. Затем обе ветви сомкнулись примерно по линии озер Иртыш, Касли, Увильды, Ильменских гор, Кундравы, и перемешались: шло заселение Южного Урала. Селились беспорядочно, кому где приглянется. К растущим заводам власти начали приписывать окрестные села и деревни, даже переселять людей из центральных губерний России.

По указу царскому, не то в одна тысяча семьсот девяностом, не то годом раньше, пригнали казаки в Тургояк толпу мужиков да баб с малыми ребятишками. На обустройство отвели три недели, а к Рождеству велели по коробу угля на голову в завод доставить.

Взвыли бабы: ни кола, ни двора, ни чашки, ни плошки. Ребятишки гибнуть стали, мужики отошали, поизносились, землянки копаючи. На их счастье, здесь жили семьи беглых кержаков-раскольников – народ практичный, суровый, но добрый. Помогали, чем могли, советы давали:

– Уголь от вас не убежит – топор в руках всяк держать может. С Покрова артель сколотили бы, а как кучи класть – научим. А чем ребяташек малых морить? Натощак-то не споро и Богу молиться. В Миасс-реке да в озере рыбы невпроворот – решетом черпай! Не горюй, мужики! По весне по лошаденке у башкирцев купите...

Среди новых в селе резко выделялся высокий и плечистый молодой мужик. Ему было годков двадцать два-двадцать пять. Молчаливый, нелюдимый, своей чернотой похож на цыгана. По прибытию постучался в ворота к местному кержаку Севастьяну Мурдасову. Открыл молча калитку хозяин, кивком головы пригласил гостя в избу. Тот склонился в низком поклоне образам, что в переднем углу, и размашисто перекрестился. Крякнул от своей оплошки Мурдасов, но ничего не сказал. Молиться на чужую икону – воровство. Позволил, – сам виноват. Широким жестом указал на лавку – садись мол.

– Пачпорт есть? – спросил, покосясь на обувку парня. Лапти у здешних не в моде – в сапогах ходят.

– Казенных бумаг не приемлю, – потупился пришелец, – с печатью антихристовой.

– А чей будешь? – спрашивал хозяин миролюбиво. – С каких мест?

– Зовусь Николай. По прозвищу Молчан. Сам по себе. Родителей не помню. Сказывали: в скиту лесном уродился. Баушка выходила, а как её господь прибрал, немало по свету

мыкался. На Урал-камень подался. Солдаты замели и казакам сдали...

– Хлебнул, стало быть, – не то спросил, не то посочувствовал хозяин. Гость неожиданно спросил:

– Позволь избенку рядом срубить?

«Нашего поля ягода», – думал Севастьян.

«Характер имеет, голова на плечах. И то сказать: не место выбирай, но соседа!» Сказал:

– Стройся! Места здесь всем хватит. Пособить тебе?

– Не! Лес рубить свычен, по кузнечному делу могу.

И верно. Хоть один себе, но срубил избенку сосед, кузню сварганил на краю огорода. Стучит молотком от зари до зари. Потянулись мужики к нему: подковать лошадь, вставить зубья к бороне...

Как-то снова, уж затемно было, пришел Молчан к Севастьяну. Молча поклонился образам, окинул взглядом исподлобья большую семью за столом, поздоровался.

– Хлеб да соль, добрые соседи!

– Хлеб-соль не бранится, – ответил хозяин. – Садись с нами!

Сосед присел на лавку, от ужина отказался, заметил шутиливо:

– За столом-то густо, а на столе – капуста. Видать, золото мыть – волком выть...

Мурдасов по ту сторону Куштумги-реки, что впадает в Миасс, на золотишко наткнулся, и двух односельчан в пай

взял.

– И не говори! – оживился Севастьян. – Фартит не часто. А все потому, что девки! – развел руками он. – Сам с лотком, сам и с лопатой. Оне – помощники-то хороши – за столом. Хошь, в пай возьму! Вдруг подфартит...

Был он не до конца искренен.

Его девки были рослые, работающие, и не уступали в работе иному мужику. С другой же стороны – старатель, как картежник. Постоянно рискует и ждет козырного туза.

– Ни к чему мне золото! – сказал Молчан. – Не за тем я к тебе, – и вдруг застеснялся, пряча огромные руки. – Вон сколько их. Отдай одну за меня!

Охнула до сих пор молчавшая хозяйка. Сгрёб пятерней нечесанную бороду старатель, задумался. Но не надолго. Он давно приглядывался со всех сторон к трудолюбивому и степенному соседу. Поглянулся Молчан ему по всем статьям: высок, пригож, односельчане в кузницу валом прут и Авдеечем величают.

– Бери Параську, старшую. Другим ишшо не черёд. Глянь: кровь с молоком! Ладная помощница станет. Мать, чё молчишь?

Прасковья зарделась, выскочила из-за стола, поперхнувшись.

– А я? Я не против твоей воли, ответила жена Мурдасова. – Мала́ ещё, в Николу семнадцать только...

– Цыц! – тихо сказал муж.

По осени сыграли свадьбу.

Так семя Молчана, заброшенное судьбой в Уральские края, возросло на суровой земле и распустило цепкие корни: шутка ли? – пять сыновей, да три девки! Потомки унаследовали у Молчана угрюмый нрав и страсть к кузнечному делу. Неизвестно кем данное прародителю прозвище превратилось в фамилию.

Глава третья

Шла вторая весна двадцатого столетия – года одна тысяча девятьсот второго.

А все началось с той пресловутой поездки в Косотурск.

Дней за десять до великой субботы тургоякские радители «древнего благочестия» собрали гостинцы для обитателей скитской Закаменской обители – рыбы, муки, яиц, картошки и мяса. Закаменская, как и многие другие, затаившаяся в непроходимых дебрях Ицыла, жила в основном на средства единомышленников – беспоповцев. Жила и существовала вопреки грозной царской «милости», когда в 1853 году решением «Особого комитета» Министерства внутренних дел было предписано навсегда упразднить и разрушить скиты.

На долю Степана выпал случай – уж не впервые – доставить харчи в Косотурск, откуда другие люди вовремя доставят их куда надо. Дело пустяшное, но под видом поездки на базар нужно было преодолеть расстояние верст в двадцать через хребет...

Часа в два пополудни груженная телега громыхнула по каменному плитняку двора, выехала из ворот, и мягко покатила по улице в сторону озера.

Кругом ручьи, на льду озера воды с вершок, но лед толст и пока безопасен, а дорога по зимнику к речке Липовке короче

намного.

Скрылись по правую руку черные скалы Крутиков, проехал пещеру на Егоровой, миновал Сосновую и, не доезжая Кораблика, выехал на берег. Липовка уже несла в озера талую воду. Начался легкий подъем. От одиночества парню стало жутковато и тоскливо.

– Ну, ну, Серко! Айда, тяни! Теперь мы с тобой будто две вешки в лесу, – разговаривал он с мерином, загоня в двустволку патроны с картечью и ощупывая рядом с собою топор. В распадке могли быть волки. Дальше, в лесу их бояться нечего. В эту пору серые разбойники держатся ближе к жилью, надеясь поживиться домашним скотом.

Часа два прошло с тех пор, как Степан выехал из дома, и вот на небе рассыпалось алмазное украшение из звезд. Из-за зубчатого леса медленно поднялся серебряный диск луны. Спустившись с Илиндовской горы, он радостно вздохнул: осталось миновать еще один подъем на Пыхтун-гору, а там рукой подать до Косотурска. Но чуткий слух уловил отдаленный шум. В низине, у подножья горы, несся поток. Узкая Шайтанка, прозванная так за неукротимый весной нрав, вздулась от талых вод, и вся её пойма блестела при луне огромным озером.

Следуя наказу отца, Степан ни разу не соблазнился съехать с зимника на летнюю дорогу, но на этом отрезке пути, кажется, опростоволосился. Выезжать на летник – значит давать лишний крюк.

Возница привязал конец вожжей к передку телеги и, взяв Серка за удила, ступил сапогами-броднями в воду. Серко всхрапнул, мотнул головой, словно сетовал на хозяина за то, что опять повел его в холодную воду. Звякнула уздечка, и конь покорно пошел за хозяином.

– Не балуй! Давай, Серко! – подбодрил хозяин лошадь и почувствовал, как от холода по телу животного пробежала мелкая дрожь. – Мосток минуем, в гору согреешься, иди, но-но!

Вскоре он нащупал ногами деревянную стлань. Вода стремительно перетекала через мост вёрхом, зажурчала, обтекая сапоги Степана, сбивая с ног, обмывая колени Серка, струясь через спицы колес телеги.

– Днем бы мы с тобой не прошли, днем воды больше! Со-всем малость осталось!

Упираясь руками в задок воза, Степан помог Серку преодолеть последний подъем. Остановившись на столообразной вершине, человек и лошадь тяжело дышали.

Дохнул ветерок, обдав лицо Степана приятным прикосновением. Вдали над частоколом зубчатого леса полыхнуло зарево: то горячие колошниковые газы ударили в небо и вдруг погасли. Конь радостно заржал, почуяв жильё. Степан набросил на плечи полушубок.

Зевая и крестясь, гостю отворила закутанная в клетчатую дорожную шаль тетка Марфа – дальняя родственница по материнской линии.

– Слава всевышнему! Приехал! Пасха-то нынче поздня... Раскиселило дорогу-то? – Потом терпеливо светила фонарем, пока Степан распрягал. Отблески слабого света выхватывали из темноты круглое лицо с двойным подбородком и глазками-щелками, с черными усиками над верхней губой. Жадной рукой Марфа прощупала груз под брезентом, хрипло пригласила парня в избу. Прежде чем войти, он накрыл попоной спину взмокшего коня и привязал торбу с овсом.

Гость с отменным аппетитом расправлялся с пшенной кашей, сдобренной льняным маслом, запивая её кулагой⁵. Хозяйка, борясь с дремотой, лениво, для порядку, расспрашивала про тургорьякское житье, о родственниках, попутно жаловалась на свою вдовью судьбу и горькую долю дочерей-сироток. На то она и Марфа. Сколько помнит ее Степан, она каждому встречному сетует на «горемычную жисть». Вот и теперь, похожая на мешок в сарафане, расселась на широкой лавке, явно узкой для её комплекции, завела свою песню. «Чисто свинья: ничего не болит, а все стонет» – с неприязнью подумал Степан.

От сытной еды и усталости у него начали глаза слипаться. Надо бы во двор пойти, коня посмотреть, мешки перенести, а хозяйка разговоры ведет, словно дня ей мало. Сидя за столом, он затылком чувствовал, любопытные взгляды затаившейся на печной лежанке Ольги, девочки-подростка.

⁵ Кулага – кисло-сладкий безалкогольный напиток, изготовленный из ржи.

Метнулась на выход из горницы – Здравствуй! – старшая дочь Лизавета – длинная, но складная, грудастая, не ко времени в нарядной кофте. Взглядом стрельнула в Степана, на губах – блудливая улыбка. С порога обернулась: мать за спиной парня делала ей знаки. Он не подал виду. «Шут с ними, мое дело сторона», – подумалось ему.

Про плутоватых обитателей ветхого дома на окраине Косотурска он знал по намекам и недомолвкам. «Ополовинят воз-то! А, не мое дело». И спросил:

– Тетка Марфа, груз-то куда?

– По утру в амбар снесем, – поспешно ответила. – Ложись, давай, на лавку. Накрыться тулуп и подушку принесу.

А ему что? Хоть на лавке, хоть на полатах. Он привычен. Не велик барин. Сдерживая зевки, перекрестившись, снял сапоги, бросил на лавку свой полушубок, расстегнул ворот косоворотки, снял пиджак.

Шлепая по крашенному полу босыми ногами, прикатилась Марфа, положила на лавку лоскутное одеяло и подушку.

– Тулуп-то надо?

– Жарко под тулупом будет. Тепло в избе. Одеяло вот возьми, накройся. Утре разбужу. – И ушла, забрав с собой фонарь. В передней стало темно и тихо. Чуть слышно посапывала на печи Ольга.

Степан лег на спину, но сон вдруг пропал. В глазах стояла вся дальняя дорога: подъемы и спуски через Главный хребет,

переход вброд Шайтанки и всякая чепуха. А тут еще вспомнился Федос, покойный муж Марфы. Наверное, его душа мечется по дому... Жилистый был, веселый мужик, некогда приезжавший в Тургояк. Федос, сказывали, был когда-то ямщиком в Кувашах, а после того, как был напуган лихими людьми, перебрался в завод. Возил в вагонетке руду к домне – кáталем был. Несмотря на небольшой рост, говорили, силой он обладал необыкновенной: гнул подковы и подымал воз с сеном. Часто шутил, громко смеялся и всегда был с красными воспаленными глазами. Так со смехом и умер, свалившись с эстакады на кучу железной руды – угорел от домны. Болтают люди всякое, но будто бы он ярым пилипоном⁶

⁶ Пилипон – филипповец (старообрядцы поповского направления).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.